



18+

МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК

ПОКОРНОСТЬ

Corpus

РОМАН

Еще один шедевр Уэльбека.
Еще один потрясающий роман.

Бернар Марис,
Charlie Hebdo. 7.01.2015

Мишель Уэльбек

Покорность

«Corpus (АСТ)»

2015

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

Уэльбек М.

Покорность / М. Уэльбек — «Corpus (АСТ)», 2015

ISBN 978-5-17-089765-0

Блестящий и непредсказуемый Мишель Уэльбек – один из самых знаменитых писателей планеты, автор мировых бестселлеров «Элементарные частицы», «Платформа», «Возможность острова», «Карта и территория» (Гонкуровская премия 2010 года). Его новый роман «Покорность» по роковому совпадению попал на прилавки в день кровавого теракта в журнале «Шарли Эбдо», посвятившем номер выходу этой книги. «Покорность» повествует о крахе в недалеком будущем современной политической системы Франции. Сам Уэльбек определил жанр своего романа как «политическую фантастику». Действие разворачивается в 2022 году. К власти демократическим путем приходит президент-мусульманин, страна начинает на глазах меняться. Одиноким интеллектуалом по имени Франсуа, поглощенный наукой, университетскими интригами и поиском временных подруг, неожиданно обнаруживает, что его мир рушится, как карточный домик. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-089765-0

© Уэльбек М., 2015

© Corpus (АСТ), 2015

Содержание

Часть первая	6
Часть вторая	18
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Мишель Уэльбек

Покорность

Michel Houellebecq

Soumission

Перевод с французского Марии Зониной

Редакция благодарит Сергея Пархоменко за помощь в подготовке книги.

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко Уэльбек, Мишель.

© Michel Houellebecq et Flammarion, 2015

Часть первая

Шум вокруг вернул его в Сен-Сюльпис. Певчие собрались уходить, храм закрывался. Надо было бы попробовать помолиться, подумал Дюрталь, чем так по-пустому мечтать, сидя на стуле, но как молиться? Я вовсе этого не хочу; я заморожен католичеством, его запахом воска и ладана; я брожу вокруг него, тронутый до слез его молитвами, проникнутый до мозга костей его причитаниями и песнопениями. Мне совершенно опротивела моя жизнь, я очень устал от себя, но отсюда еще так далеко до другой жизни! И пожалуй, вот еще что: в храме я взволнован, но, выйдя из него, сразу становлюсь холоден и сух. «В сущности, – заключил он, следуя к дверям вместе с последними посетителями, которых подгонял служка, – в сущности, мое сердце задубело и закоптилось в разгуле. Ни на что я уже не годен».

Ж.-К. Гюисманс *На пути*¹

В течение долгих лет моей невеселой юности Гюисманс оставался моим спутником и верным другом; я ни разу не усомнился в нем, ни разу не возникло у меня желания расстаться с ним или выбрать себе другую тему; так что в один прекрасный июньский день 2007 года, после всяческих проволочек, нарушив все мыслимые и немыслимые сроки, я защитил в университете Сорбонна – Париж-IV² диссертацию «Жорис-Карл Гюисманс, или Выход из тупика». На следующее же утро (а может быть, и в тот же вечер, не поручусь, потому что вечером после защиты я напился в полном одиночестве) мне стало ясно, что завершилась определенная часть моей жизни и, скорее всего, лучшая ее часть.

В таком положении оказываются в нашем обществе, пока еще западном и социал-демократическом, все, кто заканчивает свое обучение, хотя многие и не осознают этого, по крайней мере не сразу, одержимые жаждой заработка или, возможно, потребления – в случае самых примитивных особей, попавших в острую зависимость от ряда товаров (но таких все же меньшинство, а люди более солидные и вдумчивые заболевают простейшей формой помешательства на деньгах, этом «неутомимом Протее»), но в еще большей степени они одержимы желанием проявить себя, заполучить место под солнцем в мире, основанном, как они полагают и надеются, на соревновательном принципе, к тому же их раззадоривают всякого рода идолы, будь то спортсмены, модные дизайнеры, создатели веб-сайтов, актеры или топ-модели.

По разным причинам психологического свойства, анализировать которые у меня нет ни достаточной компетентности, ни желания, я не вписался в рамки общей схемы. Первого апреля 1866 года восемнадцатилетний Жорис-Карл Гюисманс начал свою профессиональную деятельность в должности служащего шестой категории в министерстве внутренних дел и религий. В 1874 году он издал за свой счет «Вазу с пряностями», первый сборник стихов в прозе, практически не замеченный критикой, если не считать весьма дружелюбной статьи Теодора де Банвиля. Так что его первые шаги в этом мире, как мы видим, особого фурора не произвели.

Так и прошла его служебная жизнь и жизнь вообще. Третьего сентября 1893 года он был награжден орденом Почетного легиона за заслуги на государственной службе. В 1898-м вышел на пенсию, имея за плечами – с учетом отпусков по семейным обстоятельствам – тридцать лет положенного трудового стажа. За это время он умудрился написать ряд книг, побудивших меня более чем столетие спустя считать его близким другом. О литературе было напи-

¹ Перевод Н. Зубкова.

² В результате реорганизации Сорбонны в 1970 году были образованы 13 университетов, различающихся по направлениям обучения. В их числе университеты Париж-IV (Париж – Сорбонна) и Париж-III (Новая Сорбонна). (*Здесь и далее – прим перев.*)

сано много, может быть, даже слишком много (уж я-то, будучи преподавателем университета и специалистом в этой области, знаю, о чем говорю). Особенность литературы, одного из *главных искусств* той западной цивилизации, которая на наших глазах завершает свое существование, не так уж и трудно сформулировать. Музыка, в той же степени, что и литература, может вызвать потрясение, эмоциональную встряску, безграничную печаль или восторг. Живопись, в той же степени, что и литература, может дать повод для восхищения и предложить по-иному взглянуть на мир. Но только литературе подвластно пробудить в нас чувство близости с другим человеческим разумом в его полном объеме, с его слабостями и величием, ограниченностью, суетностью, навязчивыми идеями и верованиями; со всем, что тревожит, интересует, будоражит и отвращает его. Только литература позволяет самым непосредственным образом установить связь с разумом умершего, даже более исчерпывающую и глубокую, чем та, что может возникнуть в разговоре с другом; какой бы крепкой и проверенной временем ни была дружба, мы не позволяем себе раскрываться в разговоре так же безоглядно, как сидя перед чистым листом бумаги и обращаясь к неизвестному адресату. Разумеется, когда речь идет о литературе, имеют значение красота стиля и музыкальность фраз; не следует также пренебрегать глубиной авторской мысли и оригинальностью его суждений; но автор – это прежде всего человек, присутствующий в своих книгах, и в конечном счете не так уж и важно, хорошо или плохо он пишет, главное – чтобы писал и действительно присутствовал в своих книгах (странно, что такое простое и вроде бы элементарное условие оказывается в реальности слишком сложным и что этот очевидный и легко поддающийся наблюдению факт был так мало использован филологами всех мастей; дело, однако, в том, что люди, в принципе, обладают, за неимением качества, равным количеством бытия, и, в принципе, все они в равной мере так или иначе *присутствуют*; однако по прошествии нескольких столетий впечатление складывается совершенно иное, и чаще всего с каждой новой страницей, явно продиктованной в большей степени духом времени, нежели собственно личностью пишущего, тает на наших глазах туманный субъект, все более призрачный и безликий). Точно так же, если книга нравится, это значит, по сути, что нам нравится ее автор, к нему хочется все время возвращаться и проводить с ним целые дни напролет. Все семь лет, отданные диссертации, я прожил в обществе Гюисманса, в его практически постоянном присутствии. Гюисманс родился на улице Сегюр, жил на улице Севр и улице Месье, умер на улице Сен-Пласид, а похоронили его на кладбище Монпарнас. Таким образом, почти вся его жизнь протекала в пределах шестого округа Парижа – а профессиональная жизнь в течение тридцати с лишним лет протекала в кабинетах министерства внутренних дел и религий. Я тоже жил тогда в шестом округе, в холодной и сырой, а главное, совершенно темной комнате – окна выходили в крохотный дворик, больше напоминавший колодец, так что мне приходилось зажигать свет с самого утра. Я страдал от бедности и, если бы мне пришлось отвечать на один из многочисленных опросов, сочинители которых периодически пытаются выяснить, «чем дышит молодежь», я бы наверняка определил условия своей жизни как «скорее тяжелые». Однако наутро после защиты (а может быть и в тот же вечер) первой моей мыслью было, что я утратил нечто бесценное, нечто, что я уже никогда не верну: свою свободу. В течение нескольких лет, благодаря жалким остаткам агонизирующей социал-демократии (спасибо стипендии, разветвленной системе скидок и социальных льгот, а также весьма посредственным, зато дешевым обедам в университетской столовке), мне удавалось посвящать все свое время занятию, которое я выбрал себе сам, – свободному интеллектуальному общению с другом. Как справедливо заметил Андре Бретон, юмор Гюисманса – уникальный случай щедрого юмора, он дает читателю фору, как бы приглашая его первым посмеяться над автором и его чрезмерным пристрастием к жалостливым, ужасным или нелепым сценам. Я, как никто другой, воспользовался этой щедростью, когда, получая очередные порции тертого сельдерея и трески с картофельным пюре, разложенные по ячейкам металлических подносов больничного вида, любезно предоставленных студенческим рестораном «Бюльье» своим несчастным

завсегдатаям (которым больше некуда было податься – их, скорее всего, уже давно выперли из всех приемлемых университетских ресторанов, но терпели здесь, поскольку они все-таки являлись обладателями студенческого билета), вспоминал гюисмансовские эпитеты, его *унылый сыр* и *зловещую камбалу* и, воображая, как бы он оттянулся на этих тюремных металлических подносах, доведись ему их увидеть, чувствовал себя чуть менее несчастным и чуть менее одиноким в университетском ресторане «Бюлле».

Но все это осталось в прошлом; и вообще в прошлом осталась моя молодость. В ближайшее время (и видимо, уже совсем скоро) мне предстояло заняться своим трудоустройством. И никакой радости от этого я не испытывал.

Образование, полученное на филологическом факультете университета, как известно, практически не имеет применения, и разве что самые талантливые выпускники могут рассчитывать на карьеру преподавателя на филологическом факультете университета – ситуация, прямо скажем, курьезная, так как эта система не имеет никакой иной цели, кроме самовоспроизводства, при объеме потерь, превышающем 95 %. Впрочем, образование это не только не вредное, но может даже принести какую-никакую побочную пользу. Девушка, желающая получить место продавщицы в бутике *Celine* или *Hermes*, должна, разумеется, для начала позаботиться о своем внешнем виде, но диплом лицензиата или магистра по современной литературе может стать дополнительным козырем, гарантирующим нанимателю, за неимением годных в употребление познаний, определенную интеллектуальную сноровку, предвещающую карьерный рост, поскольку литература, кроме всего прочего, издавна имеет позитивную коннотацию в индустрии люкса.

Я со своей стороны вполне отдавал себе отчет, что принадлежу к тончайшей прослойке «самых одаренных студентов». Я знал, что написал хорошую диссертацию и потому рассчитывал на высокую ее оценку; и тем не менее был приятно удивлен, заслужив *в высшей степени положительные* отзывы оппонентов, не говоря уже о великолепном заключении членов диссертационной комиссии, состоящем практически из одних дифирамбов: теперь у меня были все шансы получить при желании должность доцента. И в общем-то, моя жизнь своей предсказуемой пресностью и монотонностью по-прежнему напоминала жизнь Гюисманса полутора столетиями раньше. Первые годы своей взрослой жизни я провел в Сорбонне; там же, возможно, проведу и последние свои годы, и может быть, даже в том же Париже-IV (на самом деле не совсем так: дипломы мне были выданы в Париже-IV а место я получил в Париже-III, хоть и не столь престижном, зато расположенном в двух шагах, в том же пятом округе).

Я никогда не чувствовал в себе ни малейшего призвания к преподавательской деятельности, и пройденный мною карьерный путь только подтвердил пятнадцатью годами позже это изначальное отсутствие призвания. Частные уроки, которые я давал в надежде улучшить свое материальное положение, довольно быстро убедили меня, что передача знаний чаще всего невозможна, разнородность умов бесконечна, а также что ничто не может не только устранить это глубинное неравенство, но даже, на худой конец, хоть как-то сгладить его. И что еще печальнее, я не любил молодежь, не любил никогда, даже в то время, когда меня еще можно было причислить к ее рядам. Само понятие юности предполагает, как мне кажется, относительно восторженное восприятие жизни либо некое бунтарство, и то и другое сдобренное по меньшей мере смутным чувством превосходства над поколением, которому мы призваны прийти на смену; я лично ничего подобного не испытывал. Вместе с тем в молодости у меня были друзья, точнее говоря, попадались сокурсники, с которыми я готов был без отвращения выпить кофе или пива в перерыве между занятиями. А главное, у меня были любовницы, или, как тогда говорили (а возможно, все еще говорят), *девушки*, – из расчета в среднем по одной в год. Мои романы развивались по более или менее неизменной схеме. Я заводил их в начале учебного года на семинарах, или в процессе обмена конспектами, или в каких-то иных ситуа-

циях, благоприятствующих общению, которыми так богаты студенческие годы и чье исчезновение, непременно сопровождающее вступление в профессиональную жизнь, повергает большую часть индивидов в столь же ошеломляющее, сколь и беспроектное одиночество. Романы эти набирали обороты в течение всего года, ночи мы проводили по очереди друг у друга (в основном, по правде говоря, на их территории, поскольку мрачная, более того, антисанитарная обстановка, царившая в моей комнате, мало подходила для любовных свиданий) и совершали половые акты (льщу себя надеждой, что к взаимному удовлетворению). После летних каникул, то есть в начале нового учебного года, наши отношения заканчивались – почти всегда по инициативе девушек. Летом у них *кое-что произошло*, так, во всяком случае, они объясняли мне, чаще всего ничего не уточняя; те же из них, кто, судя по всему, не очень-то стремились щадить мои чувства, все-таки уточняли, что *встретили одного человека*. Ну допустим, и что из того? Чем я не *один человек*? По прошествии времени простая констатация факта не представляется мне веским аргументом: ну да, они действительно *встретили одного человека*, кто бы спорил; но желание приписать этой встрече достаточную судьбоносность, чтобы прервать наш роман и завести другой, было всего лишь определенным стереотипом любовного поведения – чрезвычайно устойчивым, хотя и бессознательным, причем устойчивым именно в силу бессознательности.

В соответствии с любовным стереотипом, преобладавшим в годы моей юности (а у меня нет никаких причин полагать, что с тех пор он претерпел значительные изменения), считалось, что молодые люди, по истечении недолгого периода полового разброда в подростковые годы, вступают в эксклюзивные любовные отношения с сопутствующей им строгой моногамией, когда к сексуальному досугу добавляется социальный (совместные развлечения, уикенды, каникулы). Что тем не менее вовсе не отменяло временности этих отношений, их следовало рассматривать скорее как некую подготовку, *стажировку*, так сказать (в профессиональном плане ей соответствовала ставшая уже повсеместной обязательная практика перед первым наймом на работу). Любовные связи разной продолжительности (годовой срок в моем случае мог считаться вполне приемлемым) и текучести (в среднем десять – двадцать, незначительная погрешность допускалась) должны были, по идее, сменять одна другую на пути к, скажем так, апофеозу – итоговой связи, имеющей на сей раз матримониальный и окончательный характер и посредством деторождения ведущей к созданию семьи.

Восхитительная пустопорожнотность этой схемы стала мне очевидна много позже, в сущности, сравнительно недавно, когда с промежутком в несколько недель я случайно пересекался с Орели, а потом с Сандрой (причем, встретить я Хлою или Виолену, вряд ли бы это сильно повлияло на мои умозаключения). Стоило мне войти в баскский ресторан, куда я пригласил Орели поужинать, как я понял, что мне предстоит ужасающий вечер. Несмотря на две бутылки белого «Ирулеги», выпитые мною практически в одиночку, мне все сложнее было поддерживать на должном уровне дружескую беседу, ставшую вскоре просто невыносимой. Сам толком не понимаю почему, но я сразу же решил, что было бы не то что неловко, а невыносимо предаваться общим воспоминаниям. Что касается настоящего, то Орели явно так и не удалось завязать матримониальных отношений, случайные связи вызвали у нее все возраставшее отвращение, одним словом, ее личная жизнь катилась к полнейшей и неминуемой катастрофе. Хотя она все-таки сделала, по крайней мере, одну попытку – я понял это по некоторым симптомам – и так и не оправилась от поражения, а горечь и язвительность, звучавшие в ее отзывах о коллегах мужского пола (за неимением лучшего, мы заговорили о ее профессиональной жизни – она была пиар-менеджером Межпрофессионального совета по винам бордо, в связи с чем часто ездила в командировки, в том числе в Азию, в рамках рекламной кампании французских вин), с беспощадной очевидностью доказывали, что она *огребла по полной*. К моему изумлению, вылезая из такси, она все-таки пригласила меня «зайти выпить», ну, совсем дошла до ручки, подумал я, – но в ту минуту, когда дверцы лифта закрылись за нами, я понял, что ничего

не будет, у меня даже не возникло желания увидеть ее голой, напротив, я бы предпочел этого избежать, но не тут-то было, и мои предчувствия подтвердились: она *огребла по полной* не только в эмоциональном плане, ее тело тоже подверглось необратимым разрушениям, попа и грудь превратились в участки отошавшей, скукоженной, вялой и обвисшей плоти, так что Орели уже нельзя было и уже никогда нельзя будет рассматривать как предмет вожделения.

Наш ужин с Сандрой прошел практически по той же схеме, с поправкой на вариации частного характера (ресторан морепродуктов, должность секретаря-референта в транснациональной фармацевтической корпорации), да и завершился он, в общем и целом, похожим образом, с той лишь разницей, что Сандра, будучи попухлей и повеселей Орели, не показалась мне столь безнадежно заброшенной. Печаль ее была глубока и неизбывна, и я знал, что постепенно она заполнит все ее существо; по сути, она, как и Орели, была *угодившей в мазут птицей*, но сохранила при этом, если можно так выразиться, высшую способность махать крыльями. Через год-два она откажется от каких бы то ни было матримониальных устремлений, но, повинаясь тлеющей пока еще чувственности, *перейдет на мальчиков*, как говорили во времена моей юности, и, превратившись в «женщину-пуму», продержится на плаву несколько лет, в лучшем случае лет десять, пока увядание плоти, на сей раз необратимое, не обречет ее на полное одиночество.

В двадцать лет, когда у тебя стоит по любому поводу, а иногда и вовсе без причины, когда стоит даже, образно выражаясь, *вхолостую*, я еще мог бы увлечься романом такого рода, более радостным и прибыльным, чем частные уроки, уж в то время, думаю, я бы *не подкачал*, но теперь, понятное дело, об этом не могло быть и речи, поскольку моим редким и ненадежным эрекциям требовались упругие, гибкие и безупречные тела.

В первые несколько лет после назначения на должность доцента в Париже-III в моей половой жизни не намечалось никакого заметного прогресса. Я продолжал из года в год спать со студентками своего факультета – и тот факт, что я был их преподавателем, мало что менял. Разница в возрасте между мной и этими студентками поначалу была, надо сказать, совсем ничтожной, и лишь постепенно появился оттенок запретности, скорее вследствие повышения моего университетского статуса, нежели реального или пусть даже чисто внешнего старения. В сущности, я извлекал максимальную выгоду из исконного неравенства между нами, заключающегося в том, что старение мужчины крайне медленно снижает его эротический потенциал, тогда как у женщин крушение происходит на удивление стремительно, всего за несколько лет, а то и месяцев. Теперь, как правило, я сам прекращал все романы в начале учебного года, и только этим на самом деле мое нынешнее положение и отличалось от студенческих лет. Мое поведение вовсе не было продиктовано каким-то донжуанством или безудержной склонностью к распутству. В отличие от моего коллеги Стива, преподававшего параллельно со мной литературу XIX века на первом и втором курсе, я не бросался в первый же день занятий алчно изучать «новые поступления» первокурсниц (в своей вечной толстовке и кедах *Converse* Стив напоминал мне этим расплывчато-калифорнийским стилем Тьерри Лермитта в «Загорелых», выходящего из бунгало, чтобы посмотреть на прибывших в клуб свеженьких курортниц). Подружек своих я бросал вообще-то от уныния и усталости: мне просто было уже не под силу продолжать отношения, и я пытался, как мог, обезопасить себя от разочарований и отрезвления. В течение года я мог пересмотреть свое решение под влиянием внешних и весьма анекдотических факторов вроде мини-юбки.

А потом и это прекратилось. Я расстался с Мириам еще в конце сентября, на дворе уже был апрель, учебный год подходил к концу, а я так и не подыскал ей замену. Став профессором, я достиг пика своей академической карьеры, но одно к другому отношения все-таки не имело. Правда, вскоре после разрыва с Мириам, когда я встретился с Орели, а потом с Сандрой, мне открылась некая иная взаимосвязь, тревожная, малоприятная и дискомфортная. Потому что,

время от времени мысленно возвращаясь к этому, я вынужден был признать очевидное: у меня с моими *бывшими девушками* оказалось гораздо больше общего, чем мы думали, и эпизодические сокоупления, не вписанные в долгосрочную перспективу совместной жизни, в итоге разочаровывали и их, и меня. В отличие от них, я ни с кем не мог это обсудить, ибо личная жизнь не входит в разряд тем, допустимых в мужском обществе: мужчины охотно говорят о политике, литературе, финансовых рынках и спорте, кому что; но о личной жизни будут хранить молчание до последнего вздоха.

Может быть, старея, я не избежал, скажем так, мужского климакса? Это было не лишено смысла, и я решил для очистки совести потратить свои вечера на *Yourporn*, ставший за эти годы самым посещаемым порносайтом. Результат, более чем обнадеживающий, не заставил себя ждать. *Yourporn* отзывался на фантазмы нормальных мужчин, населяющих нашу планету, и я оказался – что подтвердилось в первые же минуты – самым что ни на есть нормальным мужчиной. Это, в общем, не было так уж очевидно, ведь большую часть жизни я посвятил изучению автора, которого многие считают *декадентом*, в связи с чем тема его сексуальности остается непроясненной. Короче, я поставил себе зачет и успокоился. Ролики попадались то замечательные (снятые профессиональной командой из Лос-Анджелеса, с осветителями, техниками и операторами), то ужасные при всей своей *винтажности* (немецкие дилетанты), но все без исключения следовали нескольким вполне себе приятным сценариям. В одном из самых ходовых мужчины (молодой, старый, существовали обе версии) сдуру позволял своему члену дремать под покровом трусов или шорт. Две молодые женщины – их расовая принадлежность могла меняться, – всерьез озабоченные столь несуразной ситуацией, принимались усердно высвобождать означенный орган из его временного укрытия. В лучших традициях женской солидарности и взаимопонимания они самым восхитительным образом будоражили его, доводя до иступления. Член кочевал изо рта в рот, языки скрещивались, как скрещиваются траектории встревоженных ласточек в темном небе южной части департамента Сена и Марна, когда, пускаясь в зимние странствия, они летят прочь из Европы. Мужчина, ошалевший и вознесенный до небес, мог издавать лишь невнятные возгласы, от чудовищно убогих у французов («У бля!», «У бля, щас кончу!») – вот и все, на что оказался способен народ-царевубийца) до куда более благозвучных и бурных у американцев (*Oh My God! Oh Jesus Christ!*) – люди истинно верующие, они словно призывали не пренебрегать дарами божьими (оральным сексом, жареным цыпленком), ну, как бы то ни было, у меня тоже стоял всю перед монитором 27-дюймового *iMac*, так что грех жаловаться.

С тех пор как я стал профессором, моя преподавательская нагрузка уменьшилась, и мне удалось перенести все свои университетские занятия на среду. Для начала, с восьми до десяти утра, я читал второкурсникам лекции по литературе XIX века – параллельно со мной, в соседней аудитории, Стив читал аналогичный цикл лекций первому курсу. С одиннадцати до трех я рассказывал магистрантам второго года о декадентах и символистах. Затем, с трех до шести, вел семинар, отвечая на вопросы аспирантов.

В начале восьмого утра я с удовольствием садился в метро, упиваясь мимолетной иллюзией принадлежности к «Франции, которая рано встает», Франции рабочих и ремесленников, но, судя по всему, я был исключением из правила, потому что моя первая лекция проходила в практически пустой аудитории, если не считать компактной кучки китайцев, внимавших мне со звериной серьезностью, – они и между собой-то почти не общались, а уж с посторонними и подавно. Первым делом они включали свои смартфоны, чтобы записать лекцию целиком, что, впрочем, не мешало им конспектировать ее в больших тетрадях формата 21 x 29,7 на спирали. Они никогда не перебивали меня и не задавали вопросов, так что два часа пролетали почти незаметно; мне казалось, я и не начинал. Выйдя из аудитории, я встречался со Стивом, у которого публика была приблизительно такая же, с той лишь разницей, что вместо

китайнок к нему ходили арабские девушки в хиджабах, столь же серьезные и непроницаемые. Стив почти всегда предлагал мне пойти чего-нибудь выпить – как правило, чаю с мятой в главной парижской мечети на соседней улице. Я не любил ни мятный чай, ни главную парижскую мечеть, да и Стива недолюбливал, но послушно шел за ним. Он, я думаю, был мне признателен за сговорчивость, поскольку не пользовался у коллег особым уважением, да и правда возникал вопрос, как это он ухитрился стать доцентом, не опубликовав ни единой статьи, будь то в серьезном или даже второстепенном журнале, перу его принадлежала лишь невнятная диссертация о Рембо, *полная хрень*, как мне объяснила Мари-Франсуаза Таннер, еще одна моя коллега, крупный специалист по Бальзаку, – о Рембо написаны уже тысячи диссертаций во всех университетах Франции и франкофонных стран, равно как и за их пределами. Рембо, похоже, стал самой избитой диссертационной темой в мире, уступая разве что Флоберу, так что достаточно взять две-три старые диссертации, защищенные в провинциальных университетах, и творчески их переработать – ни у кого не хватит средств на проверку, ни у кого не хватит ни средств, ни желания проштудировать сотни тысяч страниц о *ясновидце*, накатанных соискателями, лишенными всякой индивидуальности. Своей более чем достойной академической карьерой Стив был обязан, опять же по словам Мари-Франсуазы, тому обстоятельству, что он периодически *вдувал Делузи*. Почему бы и нет, но все же странно. Шанталь Делуз, ректор Парижа-III, широкоплечая баба с седым бобриком, непримиримая поборница *gender studies*, всегда казалась мне стопроцентной, махровой лесбиянкой, но я мог и ошибаться, она, вполне вероятно, затаила злобу на мужиков, которая выражалась теперь в разнообразных фантазмах на тему женского доминирования, так что, принуждая милягу Стива, с красивым бесхитростным лицом и легкими выющимися волосами до плеч, опускаться на колени между ее увесистыми ляжками, она испытывала, очевидно, невиданный доселе экстаз. Так или иначе, в то утро, сидя в чайном дворике главной парижской мечети, я невольно подумал об этом, глядя на Стива, посасывающего кальян с мерзким яблочным ароматом.

Он, как обычно, пустился в рассуждения об университетских назначениях и карьерном росте коллег – не помню, чтобы он хоть раз сам завел разговор на другую тему. В то утро он был озабочен присвоением звания доцента автору диссертации о Леоне Блуа, двадцатипятилетнему юнцу, который, как он считал, «был связан с идентитарным движением». Я закурил, чтобы потянуть время, удивляясь про себя, что ему не все равно. У меня даже мелькнула мысль, что в нем проснулся *левак*, но потом я себя урезонил: левак в Стиве спал сном младенца, и лишь какое-то из ряда вон выходящее событие – по меньшей мере, политический дрейф высшего руководства университета – могло бы пробудить его от спячки. Возможно, это не просто так, продолжал Стив, тем более что Амар Резки, известный своими работами о писателях-антисемитах начала XX века, только что стал профессором. Кроме того, не отставал он, на последней конференции ректоров Сорбонны было поддержано предложение ряда университетов Англии бойкотировать обмен с израильскими учеными.

Улучив момент, когда он с головой ушел в раскуривание кальяна, я украдкой взглянул на часы – было всего пол-одиннадцатого, и я понял, что мне вряд ли удастся сбежать, сославшись на вторую лекцию, зато я неожиданно придумал относительно безопасную тему для обсуждения: несколько недель назад все снова заговорили о проекте четырехпятiletней давности, предусматривавшем открытие филиала Сорбонны в Дубае (или в Бахрейне? или в Катаре? я их все время путал). Похожий проект с Оксфордом тоже стоял на повестке дня, видимо, маститость этих учебных заведений пришлась по вкусу какой-нибудь нефтяной державе. Учитывая, что таким образом перед молодыми доцентами открывались многообещающие перспективы, финансовые в том числе, не собирается ли и Стив встать в общий строй, заявив о своих антисионистских настроениях? Может, и мне пора этим озаботиться?

Я бросил на Стива безжалостный инквизиторский взгляд – этот парень не отличался большим умом, и его легко было сбить с толку, так что мой взгляд подействовал на него мгновенно:

– Будучи специалистом по Блуа, – пробормотал он, – ты-то уж кое-что знаешь об этом идентитарном антисемитском течении...

Я в изнеможении вздохнул: Блуа не был антисемитом, а я ни в коей мере не являлся специалистом по Блуа. Конечно, мне приходилось говорить о нем в связи с творчеством Гюисманса и даже сравнивать их язык в своей единственной опубликованной книге «Головокружение от неологизмов», определенно явившейся вершиной моих интеллектуальных трудов земных, и уж во всяком случае заслужившей хвалебные отклики в «Поэтике» и в «Романтизме», благодаря чему я, видимо, и получил профессорское звание. Действительно, по большей части странные слова у Гюисманса никакие не неологизмы, а редкие заимствования из специфического лексикона ремесленных артелей или из региональных говоров. Гюисманс – в этом заключалась моя основная мысль – до конца оставался натуралистом, и ему важно было привнести в свои произведения живую народную речь, может быть даже, в каком-то смысле он навсегда остался социалистом, принимавшим в юности участие в меданских вечерах у Золя, и его растущее презрение к левым так и не стерло изначального отвращения к капитализму, деньгам и всему, что имело отношение к буржуазным ценностям; он, в сущности, был единственным в своем роде *христианским натуралистом*, тогда как Блуа, жаждавший коммерческого и светского успеха, просто выпендривался, бесконечно изобретая неологизмы, и позиционировал себя как духовный светоч, гонимый и недоступный, заняв в литературных кругах того времени положение элитарного мистика, а потом еще не уставал изумляться своим неудачам и безразличию, вполне, впрочем, заслуженному, с которым были встречены его проклятия. Это был, пишет Гюисманс, «несчастный человек, чье высокомерие представляется поистине дьявольским, а ненависть – безмерной». И правда, Блуа мне сразу показался типичным *плохим католиком*, чья истовая вера пробуждалась по-настоящему только в присутствии собеседников, осужденных, по его мнению, на вечные муки. Когда я писал диссертацию, мне приходилось общаться со всякого рода левыми католиками-роялистами, боготворившими Блуа и Бернаноса и завлекавшими меня какими-то подлинниками писем, пока я не убедился, что они ничего, ровным счетом ничего не могут мне предложить, ни одного документа, который я сам с легкостью не отыскал бы в общедоступных университетских архивах.

– Ты на правильном пути... Перечитай Дрюмона, – все-таки сказал я Стиву, скорее чтобы сделать ему приятное, и он посмотрел на меня покорным и наивным взглядом юного подлизы.

Вход в мою аудиторию – в тот день я собирался говорить о Жане Лоррене – перегородили три парня лет двадцати, два араба и один негр, – сегодня они не были вооружены, вид имели, пожалуй, мирный, и в их позах я не заметил ничего угрожающего, но мне все равно надо было пройти сквозь этот строй, так что пришлось вмешаться. Я остановился напротив бравой троицы: они наверняка получили указание не устраивать провокаций и уважительно обращаться с преподавателями, во всяком случае, я очень на это рассчитывал.

– Я профессор и сейчас у меня тут лекция, – сказал я твердым тоном, обращаясь ко всем троим сразу.

Ответил мне негр, широко улыбнувшись:

– Не вопрос, месье, мы просто пришли проведать своих сестер, – произнес он, обводя примиряющим жестом аудиторию.

Сестер там было всего ничего – в левом верхнем углу притулились рядом две девушки в черных паранджах с закрывающей глаза сеткой, – по-моему, их совершенно не в чем было упрекнуть.

– Ну вот, проведали, и будет... – добродушно заключил я и добавил: – Вы свободны.

– Не вопрос, месье, – ответил он, улыбаясь еще лучезарнее, развернулся и ушел в сопровождении своих спутников, так и не проронивших ни слова. Сделав три шага, он обернулся:

– Мир да пребудет с вами, месье... – сказал он, чуть поклонившись.

Ну вот, все и обошлось, подумал я, закрывая за собой дверь в аудиторию, на этот раз обошлось. Не знаю, чего я, собственно, ждал, просто ходили упорные слухи о нападениях на преподавателей в Мюлузе, в Страсбурге, в университетах Экс-Марсель и Сен-Дени, правда, своими глазами жертв нападения я пока не видел и в глубине души не очень-то в это верил, к тому же Стив утверждал, что дирекция университета заключила с движением молодых салафитов некую договоренность, о чем свидетельствовал, по его мнению, тот факт, что на подступах к факультету вот уже два года как не было больше ни единого хулигана и наркодилера. Интересно, есть ли в их договоре пункт о запрете доступа в университет еврейским организациям? Это тоже были всего лишь слухи, и проверить их было сложно – только вот с начала учебного года Союз еврейских студентов Франции больше не имел своих представителей ни на одном кампусе в парижских пригородах, тогда как молодежная секция Мусульманского братства постоянно открывала тут и там новые офисы.

Выходя после лекции (и чем мог заинтересовать девственников в парандже этот *человекобивый*, как он сам себя называл, Жан Лоррен, мерзкий педик к тому же? Их папаши вообще в курсе, чему они тут учатся? Или с литературы взятки гладки?), я столкнулся с Мари-Франсуазой, которая выразила желание вместе пообедать. Тусовочный, однако, выдался денек.

Мне нравилась эта забавная старая стерва, большая охотница посплетничать; учитывая выслугу лет и членство во всякого рода комитетах, сплетни в ее устах звучали весомее и содержательнее тех, что доходили до мелкой сошки вроде Стива. Она выбрала марокканский ресторан на улице Монж, так что денек выдался вдобавок еще и халяльный.

– Делузиха, – начала она, когда официант принес нам еду, – первый кандидат на вылет. Национальный совет университетов на ближайшем заседании в начале июня, скорее всего, назначит на ее место Робера Редигера.

Я мельком взглянул на тушеную баранину с артишоками, стоявшую передо мной, и на всякий случай удивленно поднял брови.

– Понимаю, – сказала она. – Верится с трудом, но это не просто слухи, мне сообщили все подробности.

Я извинился и вышел в туалет, чтобы украдкой заглянуть в свой смартфон, теперь в сети чего только не найдешь, вот и тут всего за пару минут я выяснил, что Робер Редигер прославился своими про-палестинскими настроениями, будучи к тому же одним из главных инициаторов бойкота израильских преподавателей; я тщательно вымыл руки и вернулся к своей коллеге.

Тем временем мой таджин с бараниной, увы, немного остыл.

– Они пойдут на это, не дожидаясь выборов? – спросил я, начиная есть. Я надеялся, что задал хороший вопрос.

– Выборов? Зачем ждать выборов? Что они могут изменить?

Мой вопрос явно оказался не таким уж и хорошим.

– Ну не знаю. У нас все-таки через три недели президентские выборы...

– Ты сам прекрасно знаешь, это вопрос с оплаченным ответом, как и в 2017-м. Национальный фронт выйдет во второй тур, и тогда переизберут левого кандидата – так какого черта Совету заморачиваться с выборами.

– Ну, все-таки есть еще Мусульманское братство, и мы не знаем, сколько они наберут. Они могут преодолеть психологический барьер в двадцать процентов, что, естественно, отразится на общем соотношении сил.

Это заявление было, конечно, полной чушью: во втором туре избиратели Мусульманского братства на 99 % достанутся Социалистической партии, и это никак не повлияет на результат, но выражения типа *соотношение сил* всегда звучат очень многозначительно, можно сойти за читателя Клаузевица и Сунь Цзы, да и *психологическим барьером* я тоже был весьма горд, во всяком случае, Мари-Франсуаза кивнула, словно я сказал что-то умное, и долго еще прикидывала, как отразится возможное участие Мусульманского братства в правительстве на составе высших университетских инстанций; ее комбинаторный ум просчитывал варианты, но я уже толком ее не слушал, а просто следил за тем, как одна гипотеза сменяет другую на ее угловатом стареющем лице, – надо же чем-то увлекаться в жизни, подумал я, интересно, чем я смогу увлечься, если на самом деле сойду с дистанции и моим романам придет конец? Почему бы не брать уроки виноделия, например, или не коллекционировать самолетики?

Во второй половине дня, отданной семинарским занятиям, я совсем вымотался, аспиранты вообще люди утомительные по определению, только для них, в отличие от меня, это имело хотя бы какой-то смысл; впрочем, у меня было время решить, какое индийское блюдо я разогрею вечером в микроволновке (*чicken бирьяни? чicken тикка масала? куриный роган джош?*), перед тем как включить политические дебаты на канале *France 2*.

В тот вечер пришла очередь кандидатки от Национального фронта, она клялась в любви к Франции («к какой именно Франции?» – тупо возражали ей левоцентристские комментаторы), а я думал, на самом ли деле у меня не будет больше романов, поживем – увидим, почти весь вечер я собирался позвонить Мириам, у меня сложилось впечатление, что у нее пока никого нет, мы несколько раз сталкивались с ней в университете, и ее взгляды можно было истолковать как выразительные, но, честно говоря, у нее всегда был выразительный взгляд, даже когда она выбирала ополаскиватель для волос, так что нечего тешить себя иллюзиями; может, мне пора поинтересоваться политикой, во время выборов представители самых разных формаций живут весьма насыщенной жизнью, а я тут тихо погибаю, такие дела.

«Счастлив тот, кто удовлетворен жизнью, кто доволен и веселится» – так Мопассан начинает свою статью о «Наоборот» в газете «Жиль Блас». История литературы вообще-то сурово обошлась с натуралистической школой, и Гюисманса превозносили как раз за то, что он сбросил ее бремя, тем не менее в своей статье Мопассан гораздо умнее и тоньше Блуа, писавшего в те же годы для «Черной кошки». Даже возражения Золя при внимательном чтении кажутся вполне обоснованными; Дезэссент и правда, с психологической точки зрения, остается неизменным с первой до последней страницы, в этом романе ничего не происходит и не может произойти, в каком-то смысле действие в нем напрочь отсутствует; верно и то, что Гюисмансу никогда не удалось бы продолжить «Наоборот», его шедевр оказался тупиком; с другой стороны, ведь все шедевры в этом похожи? Написав такую книгу, Гюисманс уже не мог оставаться натуралистом, это-то как раз и понял Золя, тогда как Мопассан, поэтическая душа, оценил в первую очередь сам шедевр. Я изложил свои мысли в краткой статье для журнала «Девятнадцатый век в исследованиях и публикациях», что на несколько дней целиком захватило меня, и в гораздо большей степени, чем избирательная кампания, хотя ни в коей мере не помешало думать о Мириам.

Наверное, в не столь еще давние времена своего отрочества она была очаровательной готкой, преобразившейся позже в довольно изысканную черноволосую девушку со стрижкой каре, очень белой кожей и темными глазами; за этой изысканностью чувствовалась застенчивая сексапильность, а главное, этот ее неброский эротизм с лихвой оправдал доверие. Любовь мужчины – всего лишь благодарность за доставленное удовольствие, а никто никогда не доставлял мне большего удовольствия, чем Мириам. Когда я был в ней, она могла сколько угодно стискивать мой член изнутри (то мягко, медленными, упоительными сжатиями, то пылкими строптивыми толчками). Или целую вечность крутила миниатюрной попой, прежде чем под-

пустить меня. Что касается ее минетов, то ничего подобного я до этого не испытывал – она брала в рот как в первый и, казалось, в последний раз в жизни. Да и одного раза хватило бы, чтобы жизнь мужчины была прожита не зря.

В конце концов, проканителювшись еще несколько дней, я позвонил ей; мы договорились увидеться в тот же вечер.

К своим *бывшим девушкам* по-прежнему обращаешься на «ты», так уж повелось, но на смену поцелуям приходят чмоки. На Мириам была короткая черная юбка и черные колготки, я позвал ее домой, мне не очень хотелось идти в ресторан, она с любопытством оглядела комнату и забралась поглубже на диван, юбка у нее была ну очень короткой, она накрасилась, я предложил ей чего-нибудь выпить, бурбон, если есть, сказала она.

– Ты что-то тут поменял... – она отпила виски, – не пойму только, что именно.

– Занавески.

Я повесил двойные оранжево-охряные шторы с узорами в условно-этническом стиле. Еще я купил кусок материи в цвет и накинул его на диван. Она обернулась, встав на колени, чтобы изучить занавески.

– Красиво, – заключила она в конце концов, – даже очень. У тебя со вкусом всегда был полный порядок. Ну, для такого мачо, как ты, – оговорила она и снова села, ко мне лицом. – Ничего, что я называю тебя мачо?

– Не знаю, может, ты и права, наверное, во мне есть что-то от среднестатистического мачо, ведь я никогда не считал, что так уж правильно было предоставить женщинам право голосовать, получать образование наравне с мужчинами, свободно выбирать профессию и т. д. Ну мы, конечно, уже привыкли, но такая ли уж это, в сущности, хорошая мысль?

Она удивленно прищурилась, и на мгновение мне показалось, что она действительно задумалась над этим вопросом, да и я неожиданно для себя задумался, но тут же понял, что у меня нет на него ответа, как, впрочем, и на любой другой вопрос.

– Ты за возврат к патриархату, да?

– Я вообще ни за что, ты прекрасно знаешь, но патриархат хорош уже тем, что существовал, я хочу сказать, что в качестве социального уклада он был устойчив, и семьи с детьми, в общем и целом, воспроизводили себе подобных по одной и той же схеме, короче, дело шло своим чередом. А сейчас детей не хватает, так что это дохлый номер.

– Да, теоретически рассуждая, ты мачо. Но у тебя изысканные литературные вкусы: Малларме, Гюисманс, что, конечно, ставит тебя выше обычного кондового мачо. Добавим к этому неестественное, почти женское чутье в выборе портьерных тканей.

Хотя одеваешься ты как лох. Мачо в стиле гранж – вот это уже ближе к делу; но 22 *Top* ты не любишь, и всегда предпочитал Ника Дрейка. Одним словом, ты ходячий парадокс.

Прежде чем ответить, я подлил себе виски. Под агрессивным поведением часто кроется желание понравиться, я прочел это у Бориса Цирюльника, а Борис Цирюльник – это тяжелая артиллерия, крутой мужик, в смысле всяких психических штучек, он-то уж фишку сечет, эталонный Конрад Лоренц по людям. Впрочем, Мириам слегка раздвинула ноги в ожидании моего ответа. Чем не язык тела, спустись на землю.

– Никакого парадокса тут нет, просто ты ориентируешься на психологию из женских журналов, тупо сведенную к типологии потребителей: экологически ответственная богема, *show-off* буржуазия, тусовщица *gay-friendly*, *satanic geek*, *techno-zen*, – короче, они каждую неделю придумывают что-нибудь новенькое. А я не вписываюсь с налету ни в одну из принятых категорий, вот и все.

– А нельзя ли... если мы проводим вечер вместе, постараться не говорить друг другу гадостей, как по-твоему? – На это раз ее голос дрогнул, и я смутился.

– Хочешь есть? – спросил я, чтобы загладить неловкость, нет, есть она не хотела, но, с другой стороны, как же не поесть. – Как ты насчет суши?

Она согласилась, все всегда соглашались, когда им предлагают суши, будь то самые капризные гурманы или женщины, помешанные на своей фигуре, – вокруг аморфных пластов сырой рыбы и белого риса сложился какой-то всеобщий консенсус, – а у меня валялся рекламный листок из службы доставки суши, вот уж тоскливое чтение, я ничего не понимал и понимать не собирался в васаби, маки и салмон-роллах, поэтому, остановив свой выбор на комбинированном меню В₃, позвонил им, чтобы сделать заказ, лучше уж было бы пойти в ресторан; нажав на отбой, я поставил Ника Дрейка. Последовало долгое молчание, которое я нарушил, по-дурацки, надо сказать, спросив у нее, как учеба. Она взглянула на меня с упреком и сказала, что все отлично и она собирается поступать в магистратуру на издательское дело. Я с облегчением вырулил на более общие темы, подтвердив, кстати, верность выбранного ею пути: тогда как французская экономика продолжает неумолимо съезжать вниз целыми пластами, издательское дело в полном порядке и приносит, как ни странно, растущие доходы, как будто людям в безнадежной ситуации только и остается, что читать книжки.

– По тебе тоже не заметно, что ты в порядке. Хотя ты всегда такой, по-моему, – заметила она беззлобно, скорее даже с печалью в голосе.

Что тут скажешь, возразить мне, пожалуй, было нечего.

– У меня что, такой депрессивный вид? – помолчав еще немного, спросил я.

– Нет, не депрессивный, но это даже хуже в каком-то смысле, в тебе всегда чувствовалась ненормальная честность, нежелание идти на компромиссы, благодаря которым, собственно, люди и выживают. Допустим даже, ты прав насчет патриархата, считая, что это единственная жизнеспособная модель. Но, видишь ли, вот я, например, получила образование, привыкла считать себя независимой личностью, одаренной способностью размышлять и принимать решения, ни в чем не уступая мужчинам, так что же со мной теперь делать? Выкинуть на помойку?

Возможно, ответ «да» был бы верным, но я промолчал, что, кстати, ставило под сомнение мою кристальную честность. От суши не было никаких вестей. Я налил себе еще стакан виски, третий по счету. Ник Дрейк продолжал воспевать невинных девушек и старинных принцесс. А мне по-прежнему ничего не хотелось – ни сделать ей ребенка, ни вести совместное хозяйство, ни покупать сумку-кенгуру. Мне даже трахаться не хотелось. Ну, немножко, может, и хотелось, но в то же время немножко хотелось и умереть, я уже толком не понимал, что к чему, меня мучило, да что они, черт возьми, себе думают, эти «Скоросуши»? Мне бы следовало попросить ее взять в рот, именно сейчас, это бы дало нашим отношениям второй шанс, но дурнота полностью завладела мною, усиливаясь с каждой секундой.

– Ну что, может, я пойду... – спросила она после, по меньшей мере, трехминутного молчания. Ник Дрейк только что закончил свои стенания, и мы перешли бы к хрипу «Нирваны», но я выключил звук и ответил:

– Как хочешь...

– Мне жалко, правда жалко, что ты до такого дошел, Франсуа, – призналась она, стоя уже в пальто в прихожей. – Я бы и рада как-то тебе помочь, только ума не приложу, как именно, ты просто не даешь мне такой возможности.

Мы снова поцеловались; я был далек от мысли, что мы сумеем с этим справиться.

Суши принесли через несколько минут после ее ухода. Очень много суши.

Часть вторая

После ухода Мириам я провел в одиночестве больше недели; впервые с тех пор, как я стал профессором, я был не в состоянии даже вести занятия по средам. Работа над диссертацией и издание книги стали интеллектуальными вершинами моей жизни; с тех пор прошло уже десять лет. Интеллектуальными или просто вершинами? Тогда, во всяком случае, я чувствовал, что мое существование *имеет смысл*. С тех пор я не поднимался выше кратких статей для «Девятнадцатого века» или изредка для *Le Magazine litteraire*, если на повестке дня возникало нечто, имеющее отношение к моей области. Мои статьи были внятными, колкими, блестящими и, как правило, пользовались успехом, тем более что я всегда сдавал их в срок. Достаточно ли этого, чтобы признать жизнь имеющей смысл, – другой вопрос. И почему, собственно, жизнь, в принципе, должна иметь смысл? Все животные и подавляющее большинство людей прекрасно живут, не испытывая никакой нужды в смысле жизни. Живут, потому что живут, и точка, – так они мыслят; потом умирают – надо думать, потому, что умирают, вот и вся их философия. Но, будучи специалистом по Гюисмансу, я полагал, что мне-то уж пристало копнуть чуть глубже.

Когда аспиранты спрашивают меня, в каком порядке следует изучать произведения автора, которому они решили посвятить свою диссертацию, я неизменно отвечаю, что лучше придерживаться хронологии. И не потому, что жизнь писателя имеет решающее значение; скорее наоборот, именно последовательность произведений вычерчивает своего рода интеллектуальную биографию, с определенной внутренней логикой. Что касается Жориса-Карла Гюисманса, то заговodka была, понятное дело, в исключительной проницательности романа «Наоборот». Как, написав столь мощную и неординарную книгу, не имеющую аналогов в мировой литературе, – можно писать дальше?

Первое, что, естественно, приходит на ум, – можно, но чудовищно трудно. Что мы и наблюдаем на примере Гюисманса. Роман «У пристани», следовавший за «Наоборот», надежд не оправдывает, да и как иначе, и если, несмотря на разочарование, ощущение затянутости и медленного схождения на нет, чтение его все же не лишено известного удовольствия, то только потому, что автору пришла в голову гениальная мысль: рассказать в обманывающей надежды книге историю обманутых надежд. Таким образом, соответствие приема сюжета влечет за собой и читательское приятие такой эстетики, короче говоря – читать скучновато, но и бросать не хочется, хотя создается впечатление, что *у пристани* сели на мель не только персонажи романа, устав от сельской тоски, но и сам Гюисманс. Могло бы даже показаться, что он чуть ли не пробует вернуться к натурализму (к мрачному деревенскому натурализму, когда крестьяне оказываются еще гнуснее и корыстнее парижан), если бы не описания сновидений, то и дело прерывающие повествование, отчего оно становится уж совсем неудобоваримым и не укладывается ни в какие рамки.

Гюисманс все же выйдет из тупика уже в следующем романе, благодаря элементарному, испытанному приему – сделав своим альтер эго главного героя, формирование личности которого мы прослеживаем по нескольким книгам. Все это я ясно изложил в своей диссертации; проблемы у меня возникли позже, потому что переломным моментом в формировании личности Дюрталя (равно как и самого Гюисманса) – начиная с «Бездны», на первых страницах которой он распрощался с натурализмом, затем в романах «На пути» и «Храм» и, наконец, в «Облате» – является обращение в католичество.

Конечно, атеисту нелегко рассуждать о романах, объединенных темой обращения; точно так же можно предположить, что ни разу не влюблявшийся человек, который попросту чужд этого чувства, вряд ли заинтересуется историей любовной страсти. У атеиста, вникающего в духовные метания Дюрталя – а именно они составляют канву трех последних романов Гюисманса, когда благодать, подобно маятнику, то отступает, то стремительно нисходит

снова, – реальное эмоциональное соучастие отсутствует, и им постепенно овладевает чувство, которое, увы, есть не что иное, как скука.

Вот на этом этапе моих раздумий (я только что проснулся и пил кофе в ожидании рассвета), меня посетила крайне неприятная мысль: если «Наоборот» стал вершиной литературной жизни Гюисманса, то Мириам можно считать вершиной моей любовной жизни. Как я справлюсь с этой потерей? Ответ – скорее всего, никак.

В ожидании смерти я мог еще что-нибудь написать для «Девятнадцатого века» – до следующего собрания оставалось меньше недели. А также озаботиться предвыборной кампанией. Мужчины часто интересуются политикой и воинами, но меня эти забавы мало привлекали, я чувствовал себя ничуть не более политизированным, чем полотенце в ванной, и об этом, видимо, стоило пожалеть. Правда, когда я был молод, выборы не представляли ни малейшего интереса; убожеству «политического предложения» можно было только поражаться. Сначала выбирали кандидата от левоцентристов, на один или два срока, в зависимости от его харизматичности, – пойти на третий срок он по каким-то невразумительным причинам не имел права; затем населению надоедали левоцентристы вообще и данный кандидат в частности, и тогда мы наблюдали феномен *демократического чередования* в действии – избиратели приводили к власти кандидата от правоцентристов, тоже на один-два срока, сообразуясь с его личными качествами. Как ни удивительно, западные страны чрезвычайно гордились своей избирательной системой, которая, в общем-то, была не более чем способом поделить власть между двумя враждующими бандами, и порой даже доводили дело до войны, а все ради того, чтобы навязать эту систему странам, не разделяющим их восторгов.

С тех пор, благодаря успехам крайне правых, выборы стали чуть увлекательнее, и от дебатов повеяло забытым было холодком фашизма; но реальные сдвиги наметились только в 2017 году, во втором туре президентских выборов. Оторопевшая мировая пресса стала свидетелем постыдного, но логически неизбежного зрелища, а именно переизбрания левого кандидата в государстве, все ощутившее дрейфующем вправо. На несколько недель, последовавших за объявлением результатов голосования, в стране воцарилась странная гнетущая атмосфера. Это было нечто вроде душливого, беспредельного отчаяния, сквозь которое пробивались тут и там мятежные вспышки. Многие тогда приняли решение эмигрировать.

Через месяц после обнародования результатов второго тура Мохаммед Бен Аббес объявил о создании Мусульманского братства. Первая ласточка политического ислама, Партия мусульман Франции, скорострельно скончалась по причине удручающего антисемитизма ее лидера, который дошел до того, что стал якшаться с крайне правыми. Этот провал послужил уроком Мусульманскому братству, теперь оно строго следило за умеренностью своей позиции, то есть лишь в умеренных дозах позволяло себе отстаивать права палестинцев, поддерживать сердечные взаимоотношения с еврейскими религиозными лидерами. По модели мусульманских партий арабских стран – эту модель, кстати, использовали в свое время коммунисты во Франции – собственно политическая деятельность Братства просеивалась сквозь широкую сеть молодежных организаций, культурных учреждений и благотворительных ассоциаций. В стране, где обнищание масс неуклонно росло из года в год, подобная система передаточных звеньев принесла свои плоды и позволила Мусульманскому братству значительно расширить свою аудиторию, выйдя далеко за сугубо конфессиональные рамки, так что успех их был поистине головокружительным: по результатам последних опросов общественного мнения эта партия, возникшая всего пять лет назад, набирала 21 %, наступая таким образом на пятки Социалистической партии с ее 23 %. Традиционные правые могли рассчитывать максимум на 14 %, а вот Национальный фронт, имея 32 % голосов, сохранял позицию крупнейшей французской партии, к тому же с большим отрывом.

За последние годы телеведущий Давид Пюжас превратился в настоящего властителя дум и не только вошел в «элитарный клуб» политических журналистов (Котта, Элькабаш, Дюамель и некоторые другие), которые, как считалось, в итоге своей успешной карьеры достигли достаточно высокого уровня, чтобы выступать в роли арбитров на дебатах между двумя турами президентских выборов, но и превзошел своих предшественников куртуазной твердостью, спокойствием, а главное – умением игнорировать оскорбления, умирять входивших в штопор противников и придавать их перепалкам вид достойного демократического противостояния. Кандидаты от Национального фронта и Мусульманского братства выбрали его модератором своих дебатов в преддверии первого тура – самых рейтинговых, надо сказать, потому что, если кандидату от Мусульманского братства, с момента вступления в гонку набравшему, по опросам, все больше голосов, удалось бы переиграть кандидата от социалистов, мы могли получить невиданный доселе второй тур с абсолютно непредсказуемым результатом. Сторонники левых, несмотря на неоднократные призывы и все более агрессивный тон своей партийной прессы, отнюдь не жаждали отдавать голоса мусульманскому кандидату; сторонники правых, численность которых неуклонно росла, казалось, готовы были, вопреки категоричным заявлениям их лидеров, переступить черту и проголосовать во втором туре за кандидатку от Национального фронта. Таким образом, ставка у последней была чрезвычайно высока, выше не бывает.

Дебаты были назначены на среду, что несколько осложнило мне жизнь; накануне я закупил целый набор индийских блюд для микроволновки и три бутылки ничем не примечательного красного вина. Между Венгрией и Польшей прочно установилась область повышенного атмосферного давления, задерживая продвижение на юг циклона, зависшего над Британскими островами; на всей территории континентальной Европы сохранялась непривычно сухая и холодная погода. Аспиранты задолбали меня за день своими вопросами, типа «почему второстепенные поэты (Мореас, Корбьер и пр.) считались второстепенными и что им мешало считаться ведущими (как Бодлер-Рембо-Малларме, если не вдаваться, а там уже и до Бретона рукой подать)». На самом деле вопросы двух тощих и злых аспирантов были не такими уж праздными – один из них хотел написать диссертацию о Шарле Кро, другой о Корбьере, но я прекрасно понимал, что, боясь проколотся, они предпочитали заручиться мнением представителя университета. Увиливая от прямого ответа, я порекомендовал им Лафорга в качестве компромисса.

Пока шли дебаты, я дал маху, вернее, дала маху моя микроволновка, решив продемонстрировать свою новую функцию (вращаясь с дикой скоростью и издавая какое-то космическое гудение, она не собиралась ничего разогревать), в итоге мне пришлось вывалить содержимое индийских пакетов на сковородку, так что я пропустил большую часть аргументов, которыми обменялись стороны. Но даже из того, что я успел услышать, мне стало ясно, что претенденты на президентское кресло вели себя даже чересчур корректно, бесконечно расшаркиваясь друг перед другом, и по очереди клянясь в безграничной любви к Франции, – одним словом, создавалось впечатление, что они согласны более или менее по всем пунктам. Тем временем в Монфермее произошли столкновения между крайне правыми активистами и группой юных африканцев, которые не причисляли себя ни к одной политической группировке, – вследствие осквернения мечети эпизодические стычки в этом населенном пункте отмечались на протяжении всей последней недели. На следующий день сайт идентитаристов подтвердил, что столкновения носили ожесточенный характер и привели к гибели нескольких человек, но министерство внутренних дел тут же опровергло эту информацию. Как водится, лидеры Национального фронта и Мусульманского братства, каждый со своей стороны, выпустили коммюнике, решительно отмежевываясь от подобных преступных действий. Два года назад в средствах массовой информации появились скандальные репортажи о первых вооруженных столкновениях, но в последнее время речь о них заходила все реже и реже – судя по всему, теперь это считалось в порядке вещей. В течение нескольких лет, скорее даже в течение нескольких десятков лет,

«Монд», да и все левоцентристские газеты, то есть вообще все газеты, периодически обличали «кассандр», предрекавших гражданскую войну между иммигрантами из мусульманских стран и коренным населением Западной Европы. Как мне объяснил один коллега, преподававший греческую литературу, такое использование мифа о Кассандре было довольно любопытным. В греческой мифологии Кассандра поначалу предстает юной красавицей, «золотой Афродите подобной», как писал Гомер. Влюбленный Аполлон наделяет ее пророческим даром в обмен на будущие утехы. Кассандра дар приняла, но взаимностью богу не ответила, и тот в гневе плюнул ей в рот, ввиду чего никто ее никогда не понимал и не верил ей. А она предсказала одно за другим похищение Елены Парисом, начало Троянской войны и предупредила своих троянских соотечественников о коварстве греков – о пресловутом Троянском коне, благодаря которому они и взяли город. Погибла Кассандра от руки Клитемнестры, несмотря на то что это убийство она тоже предвидела, равно как и убийство Агамемнона, хотя он и отказывался ей верить. Короче говоря, от Кассандры поступали образцовые пессимистические предсказания, которые постоянно сбывались, и, судя по тому, что происходило сейчас, левоцентристские журналисты в слепоте своей не уступали троянцам. Подобная слепота, впрочем, не несла в себе никакой исторической новизны: в тридцатые годы прошлого века то же самое происходило с интеллектуалами, политиками и журналистами, которые все как один были убеждены, что Гитлер «рано или поздно одумается». Не исключено, что люди, живущие и процветающие при определенном строе, просто не в состоянии встать на точку зрения тех, кто никогда ничего хорошего от этого строя не ждал и готов уничтожить его, не испытывая особого трепета.

Надо сказать, что за последние месяцы позиция левоцентристских медиа изменилась: беспорядки в пригородах и межэтнические конфликты не упоминались вообще, эту проблему обходили молчанием, перестав даже обличать «кассандр», которые, со своей стороны, наконец-то замолкли. Всем надоели разговоры на эту тему; в моем кругу эта усталость стала чувствоваться даже раньше, чем в каком-либо другом; «будь что будет» – так можно было вкратце определить общее состояние умов.

На следующий вечер, отправляясь на ежеквартальный коктейль «Деятнадцатого века», я был уверен, что беспорядки в Монфермее не будут там широко обсуждаться, наверняка не больше, чем заключительные дебаты перед первым туром, и уж точно меньше, чем недавние университетские назначения. Вечеринку устроили в арендованном по такому случаю Музее романтической жизни на улице Шапталь.

Я всегда любил площадь Сен-Жорж с ее восхитительными фасадами Прекрасной эпохи и на минуту задержался перед памятником Гаварни, прежде чем продолжить свой путь по улицам Нотр-Дам-де-Лорет и Шапталь. Под номером 16 короткая мощеная аллея, обсаженная деревьями, вела прямо к музею. Погода стояла теплая, и двустворчатые двери, выходившие в сад, были широко распахнуты; фланируя между липами с бокалом шампанского, я почти сразу заметил Алису – она была специалисткой по Нервалю и занимала должность доцента в университете Лион-III. Ее яркое легкое платье в цветочек, безусловно, принадлежало к разряду «коктейльных», и я, хоть и не видел особой разницы между коктейльными и вечерними платьями, был уверен, что уж Алиса-то при любых обстоятельствах надела бы подобающее платье, да и вела бы себя как подобает, в ее обществе я отдыхал душой и поэтому не задумываясь помахал ей, несмотря на то что она была поглощена разговором с каким-то молодым человеком с угловатым лицом и ослепительно-белой кожей, выглядевшим, как ни странно, весьма элегантно в синем блейзере поверх майки с эмблемой ПСЖ и ярко-красных кроссовках; Годфруа Лемперер, – представился молодой человек.

– Я ваш новый коллега... – сказал он. Я отметил, что он пил чистый виски. – Я только что получил место в Париже-III.

– Да, мне известно о вашем назначении, вы специалист по Блуа, если не ошибаюсь?

– Франсуа терпеть не может Блуа, – непринужденно вмешалась Алиса. – Я имею в виду, что, будучи специалистом по Гюисмансу, он, само собой, по другую сторону баррикад.

Лемперер взглянул на меня и с неожиданно сердечной улыбкой живо сказал:

– Я, конечно, вас знаю... И с огромным восхищением отношусь к вашим работам о Гюисмансе. – Он на мгновение замолчал, подыскивая слова и не спуская с меня пронзительного взгляда.

Его взгляд был даже чересчур пронзителен, наверняка он красится, подумал я, уж во всяком случае, подводит ресницы, и я почему-то решил, что он мне скажет сейчас что-то важное. Алиса смотрела на нас с симпатией и чуть заметной насмешкой, такой взгляд бывает у женщин, слушающих мужской разговор, а это довольно любопытное явление, нечто среднее между дуэлью и педерастией. Сильный порыв ветра разворошил над нами кроны лип. В эту минуту я уловил далекий, неясный и глухой звук, похожий на взрыв.

– Удивительным образом, – снова заговорил Лемперер, – писателей, которыми занимался в юности, всю жизнь считаешь близкими людьми... Казалось бы, спустя один-два века страсти должны утихнуть, а преподаватели университета – достичь чего-то вроде литературной объективности и т. д. Ан нет. Гюисманс, Золя, Барбе д’Оревиллы, Блуа и прочие были знакомы между собой, питали друг к другу дружеские чувства или ненависть, сближались, ссорились, и история их отношений стала историей французской литературы. Но и мы, более чем столетие спустя, воспроизводим те же отношения, храним верность чемпиону, за которого болели когда-то, и по-прежнему готовы любить, ссориться и сражаться из-за него посредством научных статей.

– Вы правы, но ведь тем лучше. По крайней мере, это доказывает, что литература – дело серьезное.

– А вот с беднягой Нервалем никто никогда не ссорился, – снова вмешалась Алиса, но Лемперер, по-моему, даже не услышал ее, он по-прежнему не сводил с меня пронзительного взгляда, полностью поглощенный своей собственной тирадой.

– Вы всегда были человеком серьезным, – продолжал он. – Я прочел все ваши статьи в «Девятнадцатом веке». Чего не скажешь обо мне. В двадцать лет я был буквально заморожен Блуа, восхищался его непримиримостью, яростью, виртуозным умением презирать и оскорблять; но во многом, конечно, это было данью моде. Блуа являл собой абсолютное оружие против XX века с его посредственностью, ангажированной глупостью, докучливым гуманитаризмом; против Сартра, против Камю, против всей этой клоунады; а также против тошнотворных формалистов, и нового романа, и прочей пустопорожней бессмыслицы. Ладно, сейчас мне двадцать пять лет, я все так же не люблю ни Сартра, ни Камю, ни что-либо хоть отдаленно напоминающее новый роман, но и виртуозность Блуа мне теперь в тягость, я должен признаться, что от всей этой духовности и сакральности, которыми он так упивается, мне уже, в общем-то, ни горячо ни холодно. Сейчас я с гораздо большим удовольствием перечитываю Мопассана и Флобера, и даже Золя, ну, избранные места, так сказать. И Гюисманса, он весьма занятен...

Да у него просто на лбу написано: «правый интеллеktуал», какая прелесть, подумал я, на филфаке он не останется незамеченным. Если человека не перебивать, он будет говорить бесконечно, всем всегда интересны собственные речи, но все же собеседника следует систематически подбадривать. Я без особой надежды поглядывал на Алису, понимая, что этот период ей совершенно неинтересен, она была убежденной *Frühromantik*³. Я чуть было не спросил у Лемперера: а вы, вообще, кто, скорее католик или скорее фашик, или то и другое в равной степени, но вовремя спохватился, нет, я явно утратил всякую связь с правыми интеллеktуалами и забыл, с какого боку заходить. Внезапно вдалеке послышалось что-то вроде автоматной очереди.

³ Так в немецком литературоведении принято называть представителей раннего романтизма.

– Что это, как вы думаете? – спросила Алиса. – Похоже на стрельбу... – добавила она неуверенно.

Мы тут же замолкли, и я вдруг понял, что стихли все разговоры в саду, так что снова стал слышен шорох листвы на ветру и негромкие шаги по гравию – гости выходили из зала, где происходил коктейль, и медленно ступали между деревьями, словно ожидая чего-то. Мимо меня прошли два преподавателя из университета Монпелье, как-то странно держа включенные смартфоны в горизонтальном положении, словно это были прутики для поиска подземных родников.

– Ничего нет... – с тревогой выдохнул один из них. – Они зависли на саммите Большой двадцатки.

Они сильно ошибаются, если рассчитывают, что информационные каналы будут освещать эти события, подумал я. Ни слова не скажут, как вчера о Монфермее; все будто воды в рот набрали.

– Вот и до Парижа докатилось, – безучастно заметил Лемперер.

В ту же секунду снова послышались выстрелы, на этот раз весьма отчетливо – судя по всему, стреляли неподалеку, – затем раздался гораздо более громкий взрыв. Все гости мгновенно повернулись в ту сторону. В небо над домами поднимался столб дыма; видимо, это происходило где-то в районе площади Клиши.

– Боюсь, наша *тусовка* не затянется... – беспечно заметила Алиса.

И правда, многие из присутствующих принялись куда-то звонить, а некоторые даже стали продвигаться к выходу, но неторопливо, словно невзначай, делая вид, что не потеряли самообладания и ни в коем случае не собираются поддаваться панике.

– Можем продолжить у меня, если хотите, – предложил Лемперер. – Я живу на улице Кардинала Мерсье, в двух шагах отсюда.

– У меня завтра лекция в Лионе, я уеду шестичасовым экспрессом, – сказала Алиса. – Так что мне уже, наверное, пора.

– Ты уверена?

– Да, и, как ни странно, мне совсем не страшно.

Я взглянул на нее, спрашивая себя, стоит ли ее поугovarивать, но почему-то мне тоже не было страшно, я был уверен, без всяких на то оснований, что столкновения не выйдут за пределы бульвара Клиши.

«Твинго» Алисы был припаркован на углу улицы Бланш.

– Мне кажется, ты поступаешь не очень разумно, – сказал я, поцеловав ее. – Позвони все-таки, когда доберешься.

Она кивнула и тронулась с места.

– Потрясающая женщина... – сказал Лемперер.

Я согласился, заметив про себя, что, в сущности, мало что знаю об Алисе. Если не считать обсуждения почетных наград и карьерных успехов, наше общение с коллегами ограничивалось пересудами о том, кто с кем спит, но никаких сплетен про нее я не слышал. Она была умна, элегантна, миловидна – сколько, интересно, ей лет? Приблизительно как мне, лет сорок – сорок пять, и, судя по всему, у нее никого нет. Все-таки ей рано пока завязывать с этим делом, подумал я и тут же вспомнил, что еще вчера рассматривал для себя такую же перспективу.

– Ага, потрясающая! – поддакнул я, пытаясь отделаться от этой мысли.

Перестрелка стихла. Свернув на безлюдную в этот час улицу Баллю, мы очутились как раз в эпохе наших любимых писателей – о чем я не преминул сказать Лемпереру; практически все здания тут, прекрасно сохранившиеся, были построены во времена Наполеона III или в первые годы Третьей республики.

– Вы правы, даже вторники Малларме проходили совсем рядом, на улице Ром... – ответил он. – А вы где живете?

– На авеню Шуази. Это скорее семидесятые годы прошлого века. В литературном смысле ничем не примечательный период.

– То есть в чайна-тауне?

– Именно. Я живу в самом центре чайна-тауна.

– Вполне может оказаться, что это правильное место, – после долгой паузы задумчиво произнес он.

Мы как раз дошли до угла улицы Клиши. Я в изумлении остановился. В сотне метров к северу от нас, на площади Клиши, бушевало пламя; поодаль виднелись обугленные остовы машин и автобуса; в гуще огня чернела величественная статуя маршала Моисея. Людей видно не было. Стояла звенящая тишина, нарушаемая только монотонным воем сирен.

– Что вы знаете о военной карьере маршала Моисея?

– Ровным счетом ничего.

– Он был наполеоновским солдатом. Прославился при обороне заставы Клиши от наступающих русских войск в 1814-м. Если беспорядки перекинутся на Париж, – продолжал он тем же тоном, – китайская община останется над схваткой. Чайнатаун будет, возможно, одним из немногих безопасных кварталов в городе.

– Думаете, это реально?

Он молча пожал печами. В эту минуту я с ужасом увидел, как двое парней с автоматами, в кевларовых комбинезонах полицейского спецназа, преспокойно шагают по улице Клиши по направлению к вокзалу Сен-Лазар. Они оживленно болтали, даже не взглянув в нашу сторону.

– Они... – я так оторопел, что с трудом подбирал слова, – они идут себе, как ни в чем не бывало.

– Да... – Лемперер остановился и задумчиво потер подбородок. – Видите ли, в данный момент очень трудно сказать, что реально, а что нет. Тот, кто будет уверять вас в обратном, либо дурак, либо лжец; я думаю, сейчас никто не может утверждать, что знает, как все сложится в ближайшие недели. – Он умолк ненадолго и продолжил: – Ну вот, мы почти пришли. Надеюсь, ваша подруга нормально доехала...

Тихая, пустынная улица Кардинала Мерсье упиралась в фонтан с колоннами. По обе стороны от него массивные ворота, увенчанные камерами видеонаблюдения, вели в засаженные деревьями дворы.

Лемперер нажал указательным пальцем на маленький алюминиевый щиток – очевидно, биометрический домофон; перед нами тут же поднялась металлическая штора. В глубине двора, полускрытый платанами, виднелся роскошный и элегантный особнячок, образец стиля Наполеона III. Я недоумевал: вряд ли он живет в таком месте на университетскую зарплату; а на что тогда?

Почему-то своего юного коллегу я представлял себе в строгом минималистическом интерьере – ничего лишнего и все белое. Оказалось, что убранство его квартиры полностью соответствует архитектурному стилю дома: гостиная, обитая шелком и бархатом, была уставлена удобными креслами и столиками, украшенными маркетри с перламутровой инкрустацией. Над искусно отделанным камином царила огромная картина в помпезном стиле, возможно подлинник Бугро. Я сел на оттоманку, затянутую бутылочно-зеленым репсом, и согласился отведать грушевой водки.

– Если хотите, можем попытаться понять, что там творится... – предложил он, наполняя мой стакан.

– Нет, я уверен, что информационные каналы ничего не сообщат. Разве что по CNN, если у вас есть спутниковая антенна.

– Я уже все испробовал в эти дни. По *CNN* ничего, в *YouTube* тоже, как и следовало ожидать. В *Rutube* время от времени что-то мелькает – люди снимают на мобильники; но это уж как повезет, сейчас я и там ничего не нашел.

– Не понимаю, какой смысл в этом заговоре молчания, не понимаю, чего добивается правительство.

– Ну, это как раз ясно: они на самом деле боятся, что Национальный фронт победит на выборах. А каждая картинка уличных беспорядков добавляет голоса Национальному фронту. Теперь обстановку нагнетают крайне правые. Конечно, ребята в пригородах заводятся с полоборота; но, заметьте, в последние месяцы всем вспышкам агрессии предшествовали антиисламские провокации: то мечеть осквернили, то женщину угрозами вынудили снять никаб, ну, короче, что-то в этом роде.

– Вы считаете, за всем этим стоит Национальный фронт?

– Нет, нет, они на такое не пойдут. У них все устроено совсем иначе. Скажем... существуют обходные пути...

Он допил залпом свой стакан, подлил нам обоим и замолчал. На картине Бугро, висевшей над камином, были изображены пять женщин: полуобнаженные или в белых туниках, они сидят в саду вокруг голого кудрявого мальчика. Одна из женщин заслоняет грудь руками; у другой руки заняты, она держит букет полевых цветов. У нее очень красивая грудь; художнику замечательно удалось складки ее покрывала. Картина была написана чуть более века назад, и мне показалось, что все это так далеко от меня, что поначалу я буквально застыл в оцепенении, рассматривая непонятный предмет.

Можно было попытаться медленно, постепенно влезть в шкуру буржуа XIX века, какого-нибудь нотабля в сюртуке, для которого, собственно, и писалась эта картина, и, как он тогда, почувствовать, как зарождается эротическое волнение при виде обнаженных греческих фигур, но это было бы трудоемкое, непростое путешествие во времени. Мопассан, Золя и даже Гюисманс подпускали к себе гораздо скорее. Наверно, стоило бы поговорить об этом странном свойстве литературы, но я решил тем не менее говорить о политике, мне хотелось узнать о ней побольше, а Лемперер, судя по всему, уже все узнал, по крайней мере, он производил такое впечатление.

– Вы были близки к идентитарному движению, если не ошибаюсь. – Тон мой был безупречен, типа светский человек с запросами, любопытствующий, не более того, демонстрирует нечто вроде дружелюбного нейтралитета, причем не без изящества.

Он широко улыбнулся.

– Да, знаю, на факультете ходят такие слухи... Действительно, я принадлежал к этому движению, несколько лет назад, когда писал диссертацию. Это были идентитаристы с католическим уклоном, порой роялисты, ностальгирующие романтики в душе, и к тому же в большинстве своем алкоголики. Но это все в прошлом, я потерял с ними всякую связь и думаю, что, появившись я сегодня на их собрании, мне все было бы в новинку.

Я многозначительно промолчал: если молчишь многозначительно, глядя людям прямо в глаза и делая вид, будто благоговейно им внимаешь, они начинают говорить без умолку. Они любят, когда их слушают, это знают все следователи; все следователи, все писатели, все шпионы.

– Видите ли, – снова заговорил он, – идентитарный блок на самом деле все что угодно, только не блок, он подразделялся на множество фракций, которые редко находили общий язык и с трудом договаривались между собой, там были католики, солидаристы, примкнувшие к «Третьему пути», роялисты, неоязычники, и несгибаемые сторонники секуляризма, выходцы из крайне левых. Но все изменилось, когда возникли «Исходные европейцы». Поначалу они взяли за образец «Исходных республиканцев», но, вывернув их идеи наизнанку, они умуд-

рились выдать ясный и объединяющий многих месседж: мы исконные европейцы, мы первыми заняли эту землю, и мусульманской колонизации мы здесь не допустим; мы также выступаем против американских фирм и приобретения нашего наследия новыми капиталистами из Индии, Китая и т. д. Они ссылались на Джеронимо, Кочиса и Сидящего Быка, что было достаточно умно с их стороны, а главное, их сайт отличался современным дизайном, потрясающей анимацией и зажигательной музыкой, привлекавшими новую публику, в частности молодежь.

– Вы правда считаете, что они хотят развязать гражданскую войну?

– Вне всякого сомнения. Сейчас я вам покажу один текст, выложенный в сети...

Он встал и вышел в соседнюю комнату. Как только мы сели в гостиной, перестрелка вроде бы смолкла; с другой стороны, в этом тупике было очень тихо и вряд ли отсюда мы бы ее услышали.

Вернувшись, он протянул мне десяток скрепленных листов, распечатанных мелким шрифтом; и впрямь документ был озаглавлен на редкость доходчиво: ПОДГОТОВКА К ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ.

– Такого рода текстов там полно, но этот, пожалуй, самый исчерпывающий, с достоверной статистикой. Тут много цифр, поскольку они изучили данные по двадцати двум странам Евросоюза, но вывод везде один и тот же. Если кратко, их мысль сводится к тому, что религиозность дает преимущество при естественном отборе: супружеские пары, исповедующие одну из трех мировых религий, патриархальные ценности которых незыблемы, имеют больше детей, чем атеисты и агностики; женщины в таких парах менее образованны, гедонизм и индивидуализм выражены слабее. Кроме того, религиозность, как правило, передается генетически: неофиты или, наоборот, отступники, отказавшиеся от традиционных семейных ценностей, составляют ничтожную погрешность; люди в большинстве своем хранят верность той метафизической системе, в которой они были воспитаны. Атеистический гуманизм, лежащий в основе «добро-соседства», долго не продержится, процент монотеистического населения в скором времени вырастет, в основном это касается мусульман, даже если не учитывать иммигрантов, которые только увеличивают эти показатели. Европейские идентитаристы принимают как данность тот факт, что между мусульманами и всеми остальными рано или поздно начнется гражданская война. Из чего следует, что, если они хотят получить шанс на победу в этой войне, им выгоднее, чтобы она разразилась как можно скорее, не позднее 2050 года, а хорошо бы и раньше.

– Логично, мне кажется...

– Да, с военной и политической точки зрения они, безусловно, правы. Остается понять, решатся ли они перейти к активным действиям прямо сейчас – и если да, то в каких странах. Неприятие мусульман достаточно велико во всей Европе, но Франция тут стоит особняком благодаря своей армии. Французская армия остается по-прежнему одной из сильнейших в мире, и каждое новое правительство остается верным этой установке, несмотря на сокращение оборонных расходов; таким образом, никакое повстанческое движение не может рассчитывать на успех, в случае если правительство решит задействовать войска. Поэтому и стратегия тут совсем другая.

– В каком смысле?

– Военная карьера длится недолго. На сегодняшний день общая численность французской армии – сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил, вместе взятых, – составляет триста тридцать тысяч человек, включая жандармерию. Ежегодно в нее набирают по двадцать тысяч, а это значит, что через пятнадцать с чем-то лет состав французских вооруженных сил полностью обновится. Если юные активисты-идентитаристы – а практически все они молоды – дружными рядами отправятся служить в армию, они в кратчайшие сроки смогут взять ее под идеологический контроль. Такова была изначальная стратегия политического крыла их движения, что и спровоцировало два года назад разрыв с силовым крылом, выступавшим за немедленный переход к вооруженной борьбе. Я думаю, политическое крыло удержит

контроль, а силовое привлечет на свою сторону лишь немногочисленных маргиналов, бывших уголовников, которым дай только пострелять. При этом в других странах ситуация может быть совершенно иной, в частности в Скандинавии. Идеология мультикультурализма в Скандинавских странах еще сильнее, чем во Франции, там идентитаристов много, и боевая закалка у них посерьезнее; кроме того, потенциал тамошних вооруженных сил невелик, и вряд ли они справятся с масштабными беспорядками. Так что если в ближайшее время в Европе и произойдет всеобщее восстание, то, скорее всего, начнется оно в Норвегии или Дании; теоретически Бельгия и Голландия тоже весьма нестабильные территории.

К двум часам ночи все вроде успокоилось, и я быстро поймал такси. Я похвалил, уходя, Лемпереровскую грушевую водку – мы с ним практически прикончили бутылку. Конечно, я, как и все, за последние годы и даже десятилетия успел наслушаться разговоров на эти темы. Выражение «после меня хоть потоп», приписываемое то Людовику XV, то его любовнице маркизе де Помпадур, очень точно передавало мое настроение, но тут впервые у меня мелькнула тревожная мысль: потоп вполне мог случиться до моей кончины. Я, разумеется, не рассчитывал на счастливый конец своей жизни – почему, собственно, я должен избежать горя, немоги и страданий? – но до сих пор я хотя бы надеялся, что покину этот мир ненасильственным путем.

Может быть, он просто паникер? Увы, я не особенно в это верил; Лемперер произвел на меня впечатление очень серьезного человека. На следующее утро я запустил поиск по *Rutube*, но о площади Клиши мне ничего не попало. Правда, я наткнулся на один клип, довольно жуткий, хотя там не было никакой крови: полтора десятка мужиков с автоматами, все в черном, в капюшонах и масках, медленно двигались клином на фоне какого-то городского пейзажа, очень напоминавшего эспланаду в Аржантее. Видео было сделано явно не мобильным телефоном: фокус получился очень четким, и к тому же снимавший использовал режим замедленной съемки... Это шествие, неспешное и величавое, снятое с нижней точки, совершалось с единственной целью: утвердить свое присутствие и заявить о взятии под контроль данной территории. В случае межэтнического конфликта я автоматически попаду в лагерь белых, и впервые, выйдя за покупками, я мысленно вознес хвалу китайцам, которые ухитрились еще в пору возникновения своего квартала помешать водворению в нем негров и арабов, да и любых других не-китайцев, за исключением, пожалуй, немногочисленных вьетнамцев.

Впрочем, осторожности ради, следовало бы подготовить отходные пути, окопаться на случай стремительного ухудшения ситуации. Мой отец жил в собственном шале в горах Экрена и недавно (ну, по крайней мере, я недавно об этом узнал) завел себе новую спутницу жизни. Моя депрессивная мать торчала в своем Невере в обществе любимого французского бульдога. И я уже лет десять не получал от них никаких вестей. Оба бэби-бумера всегда были законченными эгоистами, и я едва ли мог надеяться, что они примут меня с распростертыми объятиями. Порой я задумывался о том, увижу ли родителей, пока они еще живы, но ответ на этот вопрос всегда был отрицательным, скорее всего, даже гражданской войне не под силу что-либо тут изменить, и они обязательно найдут предлог, чтобы отказаться меня приютить; в предложениях они недостатка никогда не испытывали. Ну, у меня еще оставались друзья, несколько человек, не так уж много, честно говоря, да и с ними я почти потерял связь; или вот Алиса – я наверняка мог считать ее другом. Но вообще-то, расставшись с Мириам, я остался в полнейшем одиночестве.

15 мая, воскресенье

Я всегда любил вечерний выборный марафон; думаю даже, что после финалов чемпионата мира по футболу это моя любимая телепередача. Конечно, саспенс тут послабее, выборы все же следуют особому литературному принципу, свойственному историям, развязка которых понятна с первой минуты, но невероятное разнообразие выступающих (политологи, «автори-

тетные» политические обозреватели, толпы ликующих и рыдающих активистов в штабах своих партий... и наконец, рассудительные или взволнованные политические деятели, выступающие с заявлениями «по горячим следам»), а также всеобщее возбуждение и вправду создавало ту редкую, драгоценную и столь телегеничную иллюзию, что ты становишься соучастником исторического события в прямом эфире.

Наученный горьким опытом последних дебатов, которые я практически прозевал из-за микроволновки, я на этот раз закупил тараму, хумус, блинчики и икру и еще накануне поставил в холодильник две бутылки «Рюлли». Как только в 19 часов 50 минут на экране появился Давид Пюжас, сразу стало ясно, что на этот раз вечер превзойдет все мои ожидания и что мне предстоит захватывающее зрелище. Пюжасу не изменила профессиональная выдержка, но по блеску в его глазах все было понятно и без слов: уже известные ему результаты, которые он сможет объявить через десять минут, станут для всех невероятным сюрпризом; политический пейзаж Франции изменится до неузнаваемости.

«В стране произошел тектонический сдвиг», – заявил он торжественным голосом в тот момент, когда на экране возникли первые цифры. Национальный фронт лидировал с большим отрывом, получив 34,1 % голосов, чего, в общем, и следовало ожидать, ведь все последние опросы предсказывали это уже который месяц, кандидатка от крайне правых лишь немного подросла за последние недели кампании. Но ей буквально наступали на пятки кандидаты от Социалистической партии с 21,8 % и от Мусульманского братства с 21,7 %; их разделяло такое ничтожное число голосов, что ситуация могла кардинально измениться, даже должна была кардинально измениться несколько раз за этот вечер, по мере того как будут подтягиваться результаты голосования на избирательных участках Парижа и других больших городов. Жан-Франсуа Копе со своими 12,1 % окончательно выбыл из гонки.

Кандидат от ЮМП⁴ появился на телеэкранах только в 21.50. Изможденный, небритый, со съехавшим набок галстуком, Копе более чем когда-либо производил впечатление человека, которого долго допрашивали с пристрастием. Со страдальческим смирением он признал неудачу своей партии, даже полный ее провал, ответственность за который полностью лежит на его совести; при этом, в отличие от Лионеля Жоспена в 2002-м, он совершенно не собирался уходить из большой политики. Что же до рекомендаций по голосованию во втором туре, то их вообще не последовало; политическое руководство ЮМП должно было собраться на этой неделе, чтобы принять какое-то решение.

К 22 часам ни один из двух соперников так и не получил преимущества, по последним результатам они шли ноздря в ноздю, и эта неопределенность избавила кандидата социалистов от необходимости выступить с заявлением, которое, естественно, далось бы ему нелегко. Возможно ли, чтобы обе партии, определявшие французскую политическую жизнь с момента возникновения Пятой республики, были сметены с политической арены? Подобное предположение казалось просто невероятным, и возникало ощущение, что все обозреватели, с невероятной скоростью сменявшие друг друга в студии, вплоть до Давида Пюжаса – а уж этого человека, входившего, по слухам, в ближайшее окружение Манюэля Вальса, вряд ли можно было заподозрить в симпатии к исламу, – в глубине души желают этого. Кристоф Барбье, до поздней ночи гламурно мелькавший своим шарфом и переходивший с канала на канал так проворно, словно он обладал даром вездесущности, мог, безусловно, считаться королем вечера, – он играючи затмил и мрачного Рено Дели, имевшего бледный вид при объявлении результатов, которые его газета не сумела предвидеть, и даже Ива Треара, обычно куда более задиристого.

⁴ ЮМП (UMP, *Union pour un mouvement populaire*) – Союз за народное движение, самая крупная правоцентристская партия Франции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.